

Море-океан

Автор:

Алессандро Барикко

Море-океан

Алессандро Барикко

Громким успехом Алессандро Барикко, одного из ярчайших современных писателей, стал представленный в настоящем издании роман «Море-океан», удостоенный премий Виареджо и «Палаццо аль Боско».

В таверне «Альмайер» на берегу океана забавный профессор составляет «Энциклопедию пределов» (где кончается море?..), художник, некогда успешный светский портретист, «пишет море морем», окуная кисть в морскую воду; одна нежная незнакомка приехала сюда излечиться от любви, а другая – излечиться любовью... Они живут, будто впереди у них вечность, и в воздухе разлиты покой, отрешенность, бесконечная усталость души.

Тем сильнее потрясение, когда из этого колышущегося волшебного марева выступает ломаный контур жизненной и жестокой истории: горстка одичавших людей на плоту посреди океана – и скользнувший по волнам труп любимой женщины...

Так великая любовь побеждает страх перед жизнью и страх перед смертью – но сама побеждается жаждой великой мести, потому что подлости нет прощения.

Алессандро Барикко

Море-океан

Молли, возлюбленной моей подруге

Книга первая

ТАВЕРНА «АЛЬМАЙЕР»

1

Куда ни глянь – песок, обступивший покатые холмы. И море. Море. Студеный воздух. Неумный северный ветер благословляет угасающий день.

Берег. И море.

Мнимое совершенство, достойное Божественного ока. Самочинный мир, немой союз воды и земли, законченное, точное творение, истина. Истина. И снова райский механизм заедает от спасительной песчинки-человека. Довольно самой малости, чтобы разладить надежное устройство неумолимой истины, – мелочи, зароненной в песок, едва заметной трещины на поверхности канонического образа, пустячного исключения в безукоризненной цельности необозримого берега. Издалека это всего лишь черная точка в пустынном пространстве – ничтожный человечек и простенький мольберт.

Мольберт бросил якорь из тонких веревок, придавленных к песку четырьмя камнями. Валкая конструкция слегка подрагивает на хлестком ветру. Человечек утопает в охотничьих сапогах и мешковатой рыбацкой куртке. Он обращен лицом к морю. Пальцы играют островерхой кистью. На мольберте – холст.

Человечек, словно часовой, зорко охраняет краешек мира от бесшумного нашествия совершенства.

Узкая прореха, рассекающая красочную декорацию бытия. И так всегда: проблеск человеческого уязвляет покой за миг до того, как он обернется истиной, немедленно обращая его в ожидание и вопрос; в этом кроется

бесконечная власть человека, который и есть прореха и проблеск; но он же и отдушина, извергающая потоки событий и многое из того, что могло бы быть, бездонная пробоина, восхитительная язва, исхоженная вдоль и поперек тропа, где не может быть ничего настоящего, но все еще будет – как шаги той женщины в шляпке и сиреневой накидке, что медленно бредет вдоль кромки прибоя, расчерчивая справа налево утраченное совершенство громадного пейзажа, поглощая путь до человечка и его мольберта, покуда не оказывается совсем близко от него, так близко, что ничего не стоит остановиться и молча смотреть.

Человечек даже не оборачивается. И не отводит глаз от моря. Тишина. Время от времени он погружает кисть в медную чашечку и наносит на холст несколько тонких мазков. Щетина оставляет по себе бледную тень, мгновенно уносимую ветром, который возвращает холсту его изначальную белизну. Вода. В медной чашечке одна вода. А на холсте – ровным счетом ничего. Ничего, что можно было бы увидеть.

Не стихает северный ветер. Женщина кутается в сиреневую накидку.

– Плассон, вы уже целую вечность работаете тут как проклятый. На что вам все эти краски, если вы ни разу к ним не притронулись?

Кажется, это выводит его из оцепенения. И ошеломляет. Он поворачивается и смотрит на ее лицо. Когда он заговаривает – это не ответ.

– Прошу вас, не двигайтесь.

Он подносит кисть к женскому лицу, на миг замирает, касается хохолком ее губ и осторожно проводит им от одного уголка рта до другого. Хохолок обрастает карминным налетом. Окинув его быстрым взглядом, человечек макает кисточку в воду и поднимает глаза к морю. На женские губы ложится душистая тень; в голове проносится невольная мысль: «Морская вода, этот человек пишет море морем», и от этой мысли ее бросает в дрожь.

Женщина давно повернулась к нему спиной. Математически выверенными шагами она перебирает обширный берег, как четки. Налетевший ветер промокает розовую кляксу, плескавшуюся нагишом в холщовой белизне. Можно часами наблюдать за морем, и небом, и всем прочим, но ничего подобного этому

цвету не найти. Ничего, что можно было бы увидеть.

Приливы в здешних местах начинаются засветло. Незадолго до темноты. Вода обступает человекка и его мольберт, поглощая их медленно, но верно. Оба невозмутимо стоят, где стояли, словно миниатюрный остров или двуглавый утес.

Плассон, художник.

Каждый вечер перед закатом за ним приплывает лодка. Вода уже доходит ему до сердца. Так хочет он сам. Он взбирается в лодку, затаскивает мольберт и возвращается домой.

Часовой уходит. Он выполнил свой долг. Опасность миновала. Гаснет в закатных лучах образ, вновь не сумевший исполниться святости. И все из-за человекка и его кисточек. Теперь, когда он ушел, времени больше нет. Все обмирает с темнотой. А в темноте не может быть ничего настоящего.

2

...только изредка и так, что при встрече с ней иные перешептывались:

– Это ее погубит;

либо:

– Это ее погубит;

а еще:

– Это ее погубит;

и даже:

– Это ее погубит.

Кругом одни холмы.

Моя земля, думал барон Кервол.

Это не совсем болезнь. Похоже на болезнь, но не болезнь. Это что-то полегче. Такое легкое, что назови его – оно и развеется.

– Однажды, когда она была еще маленькой, явился к нам один нищий. Явился – и затянул колыбельную. Спугнула та колыбельная дрозда – вспорхнул дрозд...

– ...спугнула и горлицу – вспорхнула горлица, зашумела крыльями...

– ...шорох крыльев, фрр-фрр, как шепот листьев...

– ...лет десять назад это было...

– ...пролетела горлица за ее окошком – только горлицу и видели; а наша-то вскинула глазки от кукол: сама ни жива ни мертва от страху, прямо с лица спала; сердце у нее захолонуло, того и гляди душа вон...

– ...шорох крыльев, фрр-фрр...

– ...того и гляди душа вон...

– ...хотите верьте, хотите нет...

Верили: вырастет – обмогнется. А до поры до времени разостлали по всему дому ковры. И то сказать: она боялась даже звука собственных шагов. Ковры сплошь белые. Безвредные. Глухие шаги, глухие цвета.

Парковые дорожки шли кругами, с единственным вызывающим исключением в виде четы извилистых аллей, петлявших на размеренно-плавных, как псалмы, поворотах; так было даже разумнее, ведь при известной чувствительности нетрудно догадаться, что любой тупик грозит обернуться западней, а перекресток – идеальным геометрическим насилием, способным устроить всякого, кто находится во власти подлинной чувствительности, и уж тем паче

ее, не то чтобы обладавшую чувствительной душой, а именно что одержимую неуправляемой душевной чувствительностью, раз и навсегда взорвавшейся в неведомо какой момент ее тайной жизни – маленькой, неискушенной жизни, – а затем дошедшей невидимыми путями до самого сердца, и до глаз, и до рук, и до всего состава ее, словно болезнь, хотя вовсе и не болезнь, а что-то полегче, такое легкое, что назови его – оно и развеется.

В общем, парковые дорожки шли кругами.

Не следует забывать и о случае с Эделем Тратом. По шелкоткацкой части ему не было равных во всем крае. И вот как-то раз призывает его к себе барон. А на дворе зима, снегу навалило – ребятишек с головой укрывает; морозы стоят лютые;

доехать до барона – сущий ад: лошадь запарилась, копыта в снегу тонут, сани вязнут; эдак и окочуриться недолго, не будь я Эделем Тратом; самое обидное, что даже не узнаешь, на кой черт барону приспичило меня видеть...

– Что ты видишь, Эдель?

Барон стоит в детской, против длинной глухой стены, и говорит тихим, по старинке вкрадчивым голосом:

– Что ты видишь?

Добротная бургундская ткань, обычный пейзаж, отменная работа.

– Пейзаж не совсем обычный. По крайности, для моей дочери.

Его дочери.

Тут какая-то тайна. Чтобы раскрыть ее, нужно дать волю фантазии, позабыв о том, что нам известно. И тогда воображение вырвется на свободу и проникнет в самую суть вещей и станет ясно, что душа – не все алмаз, а часто шелковая вуаль, – о, я это понимаю, – представь себе прозрачную шелковую вуаль: ее ничего не стоит повредить, достаточно нечаянного взгляда или руки, женской руки – да-да, – рука медленно тянется к вуали, сжимает ее – напрасное усилие:

вуаль вспорхнет, как при порыве ветра, и пальцы скомкают ее так, словно это и не пальцы... словно это и не пальцы, а... мысли. Вот эта комната – что та рука, а дочка – что подбитая ветром шелковая вуаль.

Да, теперь я понял.

– Не водопад мне нужен, Эдель, а безмятежное озеро, не дубы, а березы; те горы в глубине должны стать пригорками, день – закатом, вихрь – ветерком, город – деревенькой, замки – садами. И уж если не обойтись без ястребов, пускай себе парят где-нибудь в вышине.

Да, я понял. А как быть с людьми?

Барон молчит. Он обводит взглядом всех действующих лиц огромной гобеленной мастерской, одного за другим, словно испрашивая их совета. Он переходит от стены к стене, но не слышит ответа. Так и должно было быть.

– Эдель, а как бы сотворить таких людей, которые не причиняют зла?

Верно, и Господь Бог задавался в свое время подобным вопросом.

– Не знаю. Но попробую.

Работа в мастерской Эделя Трота растянулась на долгие месяцы и нескончаемые версты шелковой нити, доставленной по распоряжению барона. Ткали молча, ибо, как утверждал Эдель, тишина должна впитаться в самый уток. Нить вроде бы не отличалась от всякой другой, только увидеть ее не было никакой возможности. Но нить была. Так и трудились – в полной тишине.

Долгие месяцы.

И вот в один прекрасный день ко дворцу барона подъехала повозка. На ней возлежал шедевр Эделя. Три гигантские штуки, увесистые, как пасхальные кресты. Штуки втащили по парадной лестнице, пронесли через вереницу коридоров и дверей – в самое сердце дворца, в поджидавшую их комнату. Прежде чем их размотали, барон прошептал:

– А люди?

Эдель усмехнулся.

– Уж если не обойтись без людей, пускай себе парят где-нибудь в вышине.

Барон дождался закатного багрянца, взял дочку за руку и повел ее в новую комнату. Эдель говорит, что, войдя, она зарделась от изумления. На мгновение барон убоился, что сюрприз окажет на нее чрезмерное воздействие. Но только на мгновение. В комнате тотчас воцарилась неотразимая тишина шелкового мира, которого мирные пажити лучились тихой радостью, а крошечные человечки, повиснув в воздухе, неторопливо мерили пределы бледно-голубого неба.

Эдель говорит – и этого ему не забыть никогда, – что она долго осматривалась, а потом, обернувшись, просияла улыбкой.

Ее звали Элизевин.

У нее был дивный бархатный голос; выступала она – будто скользила по воздуху, и нельзя было отвести от нее глаз. Временами без видимой причины она начинала носиться по коридорам, по этим ужасным белым коврам, навстречу неведомо чему; она уже не была всегдашней тенью и неслась, неслась... Но только изредка и так, что при встрече с ней иные перешептывались...

З

До таверны «Альмайер» можно было дойти пешком по тропинке, спускавшейся от часовни Святого Аманда; либо доехать в экипаже по дороге на Квартель; либо доплыть на барже вниз по реке. Профессор Бартльбум добрался до нее по воле случая.

– Это трактир «Согласие»?

– Нет.

- Тогда подворье Святого Аманда?

- Нет.

- А может, это Почтовый дом?

- Нет.

- Наверное, это харчевня «Королевская килька»?

- Нет.

- Превосходно. Не найдется ли у вас свободной комнаты?

- Найдется.

- Ее-то мне и надо.

Тучная книга с закорючками гостей выжидающе раскрылась на деревянной подставке. Свежеубранное бумажное ложе приготовилось воспринять иноименные сны. Профессорское перо сладострастно примяло хрустящую простыню.

Исмаил Аделанте Исмаил проф. Бартльбум

Легкий росчерк – узорчатые завитки. Просто загляденье.

- Первый Исмаил – мой отец. Второй – мой дед.

- А этот?

- Аделанте?

- Нет, не этот, а... вот этот.

- Проф.?

- Угу.

- Профессор-то? Ну, это профессор.

- Ничего себе имечко.

- Никакое это не имечко. Профессор – это я сам и есть. Я учу, понимаете? Когда я иду по улице, мне говорят: «Добрый день, профессор Бартльбум», «Добрый вечер, профессор Бартльбум». Только это не имя, это то, чем я занимаюсь, я учу...

- Не имя?

- Нет.

- Ладно. Меня зовут Дира.

- Дира.

- Да. Когда я иду по улице, мне говорят: «Добрый день, Дира», «Спокойной ночи, Дира», «Какая ты сегодня хорошенькая, Дира», «Какое у тебя красивое платье», «Не видала ли ты часом Бартльбума? – Нет, он у себя в номере, второй этаж, в конце коридора, возьмите полотенца, с видом на море, надеюсь, вам понравится».

Профессор Бартльбум – с этого момента просто Бартльбум – взял полотенца.

- Мадемуазель Дира...

- Да?

- Дозвольте полюбопытствовать?

- ?

– А сколько вам лет?

– Десять.

– Ага.

Бартльбум – с недавнего времени бывший профессор Бартльбум – подхватил чемоданы и направился к лестнице.

– Бартльбум.

– Да?

– У девушек не спрашивают их возраст.

– Верно. Простите.

– Второй этаж. До конца по коридору.

Комната в конце коридора (второй этаж): кровать, шкаф, два стула, печь, конторка, ковер (синий), две одинаковые картины, умывальник с зеркалом, скамейка-ларь и мальчик – сидит на подоконнике (у открытого окна), свесив ноги в пустоту.

Бартльбум легонько кашлянул, чтобы обозначить свое присутствие.

Хоть бы что.

Бартльбум вошел в комнату, поставил чемоданы, подошел к картинам, взглянул на них пристальнее (действительно одинаковые: невероятно), присел на кровать, с явным облегчением скинул башмаки, приблизился к зеркалу, посмотрел на себя, убедился, что это все еще он (почем знать), заглянул в шкаф, повесил в него плащ и наконец шагнул к окну.

- Ты что, статуэтка или просто так?

Мальчик не шелохнулся. Но ответил:

- Статуэтка.

- А.

Бартльбум отошел к кровати, развязал галстук и лег. Влажные пятна на потолке распустились как черно-белые тропические цветы. Он закрыл глаза и уснул. Ему приснилось, что его, Бартльбума, позвали в цирк «Бозендорф» заменить женщину-пушку; выйдя на арену, он узнал в первом ряду тетушку Аделаиду, даму утонченную, но сомнительного поведения; вначале она целовалась с пиратом, затем – с женщиной, похожей на нее как две капли воды, а в довершение всего – с деревянным истуканом какого-то святого, который, впрочем, вовсе не был истуканом, поскольку неожиданно стронулся с места и зашагал прямо к нему, Бартльбуму, издавая попутно нечленораздельные звуки, поднявшие в публике волну всеобщего недовольства, столь бурного, что ему, Бартльбуму, пришлось удирать со всех ног, отказавшись даже от заветного гонорара, оговоренного с директором цирка, а именно от 128 монет.

Бартльбум проснулся. Мальчик сидел на прежнем месте. Только повернулся и смотрел на Бартльбума. Более того, он говорил с Бартльбумом.

- Вы когда-нибудь бывали в цирке «Бозендорф»?

- Простите?

- Я спросил, бывали ли вы когда-нибудь в цирке «Бозендорф»?

Бартльбум резко сел на кровати.

- Откуда ты знаешь о цирке «Бозендорф»?

- Ниоткуда. Просто видел его здесь в прошлом году. Там были животные и все такое. А еще там была женщина-пушка.

Бартльбум подумал, нет ли у него случайно известий о тетушке Аделаиде. Правда, она уже давным-давно умерла, но этот паренек, видно, много чего знал. В конце концов Бартльбум решил не вдаваться в подробности. Он встал с кровати и прошествовал к окну.

- Не побеспокою? Душновато.

Мальчик чуть-чуть съехал с подоконника. Холодный воздух и северный ветер. Впереди - необозримое море.

- И что это ты, интересно, здесь высиживаешь?

- Смотрю.

- Смотреть-то особо не на что...

- Вы шутите?

- Ну, на море, конечно, только оно всегда одинаковое: море и море; если повезет, увидишь корабль, тоже не бог весть что.

Мальчик обернулся к морю, потом к Бартльбуму, потом опять к морю и снова к Бартльбуму.

- Надолго сюда? - спросил он.

- Не знаю. На денек-другой.

Мальчик слез с подоконника, направился к двери, остановился на пороге и смерил Бартльбума испытующим взглядом.

- А вы славный. Надеюсь, до отъезда вы малость поумнеете.

Бартльбуму не терпелось узнать, кто же воспитывает таких мальчуганов. Не иначе чудо-дети.

Вечер. Таверна «Альмайер». Комната на втором этаже в конце коридора. Конторка, керосиновая лампа, тишина. Серый халат наполнен Бартльбумом. Серые тапочки начинены ногами Бартльбума. Белый лист бумаги на конторке, перо и чернильница. Пишет Бартльбум. Пишет.

Моя несравненная,

вот я и у моря. Избавлю Вас от описания тяжестей и неудобств путешествия. Главное, что я уже здесь. Таверна уютная; скромная, но уютная. Стоит на холме у самого берега.

Вечером, во время прилива, вода подбирается прямо к моему окну. Кажется, будто плывешь на корабле. Вам бы это понравилось.

Я никогда не плавал на корабле.

Завтра я приступаю к моим студиям. Лучшего места для них не придумать. Прекрасно сознаю всю многотрудность этого предприятия. Лишь Вы – единственная на всем белом свете – знаете, сколь решительно настроен я довести до конца мой дерзновенный замысел, возникший в один чудесный день двенадцать лет назад. Утешением мне послужит мысль о том, что Вы пребываете в полном здравии и душевном покое.

Сказать по правде, я никогда прежде об этом не задумывался, но я и впрямь ни разу не плавал на корабле.

В тиши этой уединенной местности меня не покидает уверенность, что в своем невообразимом далеке Вы сохраните воспоминание о том, который любит Вас и посему Ваш навек

Исмаил А. Исмаил Бартльбум

Бартльбум кладет перо, сгибает лист, втискивает его в конверт. Встает, вынимает из дорожного сундука шкатулку красного дерева, приподнимает ее крышку и опускает внутрь раскрытый безадресный конверт. В шкатулке

покоятся сотни точно таких же конвертов. Раскрытых и безадресных.

Бартльбуму 38 лет. Он верит, что где-нибудь и когда-нибудь встретит женщину, которая всегда была и будет его женщиной. Порой он сетует на немилосердную судьбу, заставляющую его упорно ждать своего часа. Впрочем, со временем он стал относиться к этому сдержаннее. Много лет, изо дня в день, он берет в руку перо и пишет ей. Бартльбум не знает ни ее имени, ни адреса, но он твердо знает, что должен рассказать ей о своей жизни. Ибо кому же, как не ей? Он верит, что, когда они встретятся, он с трепетной радостью водрузит на ее лоно шкатулку красного дерева, доверху наполненную письмами, и скажет:

– Я ждал тебя.

Она откроет шкатулку и прочтет их все до одного, неспешно взбираясь по длинным верстам иссиня-чернильной нити, восполняя годы – дни, мгновения, – которые этот человек подарил ей задолго до того, как встретил. А может, попросту перевернет шкатулку и, ахнув при виде забавного снегопада из писем, с улыбкой скажет этому чудаку:

– Ты сумасшедший.

И будет любить его вечно.

4

– Падре Плюш...

– Да, барон.

– Завтра моей дочери исполняется пятнадцать лет.

– ...

– Прошло восемь лет, как я отдал ее на ваше попечение.

- И вы не излечили ее.

- Нет.

- Ей предстоит выйти замуж.

- ...

- Ей предстоит покинуть этот замок и увидеть мир.

- ...

- Ей предстоит рожать детей и...

- ...

- Рано или поздно ей наконец предстоит начать самостоятельную жизнь.

- ...

- ...

- ...

- Падре Плюш, моя дочь должна выздороветь.

- Да.

- Найдите того, кто сумеет ее вылечить. И приведите сюда.

Слава об этом докторе шла по всей округе. Звали его Аттердель. Многие были свидетелями того, как он поднимал людей со смертного одра; кое-кто уже отдавал концы, одной ногой стоял в могиле, совсем было скапустился, а он вытаскивал его с того света и возвращал к жизни; чудеса, да и только, хоть и не

всем они приходились по душе; но делать нечего: в этом ремесле никто не мог с ним сравниться; так что народ худо-бедно восставал из гробов, а близкие и родственники, смирившись с неизбежным, начинали все с начала, отложив до лучших времен слезы и раздел наследства: в другой раз они будут предусмотрительней и обратятся к нормальному врачу, такому, который наверняка сведет больного в могилу, не то что этот – кого ни попадя на ноги ставит, а все потому, что самый известный в нашей стороне. Не говоря уже о том, что самый дорогой.

Вот падре Плюш и подумал о докторе Аттерделе. Не то чтобы он доверял врачам, ни в коем разе, просто все, что касалось Элизевин, он поневоле воспринимал умом барона, а не своим собственным. Барон же полагал, что там, где сплеховал Бог, преуспеет наука. Бог сплеховал. Настал черед Аттерделя.

Доктор подкатил к замку в лоснящейся черной карете, что выглядело несколько мрачновато, зато весьма картинно. Он лихо взбежал по лестнице и, поравнявшись с падре Плюшем, спросил, почти не глядя на него:

– Это вы барон?

– Если бы.

Ответ вполне в духе падре Плюша. Он не умел сдерживаться. И вечно говорил не то, что нужно. За миг до ответа в его голову почему-то приходило ненужное. Но этого было более чем достаточно.

– Стало быть, вы падре Плюш.

– Верно.

– Это вы мне писали.

– Я.

– У вас довольно странная манера письма.

– В каком смысле?

- Не обязательно было все рифмовать. Я приехал бы и так.

- Вы уверены?

Тут, к примеру, куда уместнее было бы сказать: «Простите, глупо как-то вышло». Эта фраза и в самом деле выстроилась в голове падре Плюша – четкая, гладкая, в манящей, безупречной упаковке, – но с опозданием на миг; вот этого мига и хватило, чтобы невесть откуда выскочила полнейшая околесица, которая сразу же застыла на поверхности тишины, в пленительном глянце абсолютно неуместного вопроса.

- Вы уверены?

Аттердель устремил взгляд на падре Плюша. Это был больше чем взгляд. Это был медицинский осмотр.

- Уверен.

Есть у людей науки одно положительное свойство – уверенность.

- Где эта девочка?

«Да... Элизевин... Такое имя. Элизевин».

«Да, доктор».

«Нет, правда, мне не страшно. Я всегда так говорю. Такой голос. Падре Плюш сказал, что...»

«Спасибо, доктор».

«Не знаю. Какие-то странные вещи. Нет, это не страх, ну, то есть не страх... это что-то другое... страх подступает снаружи, я это поняла, ты там, а страх прямо находит на тебя, есть ты, и есть он... вот так... он и я, а потом я вдруг куда-то пропадаю, и уже есть только он... но это не страх, я не знаю, что это, а вы

знаете?»

«Да, доктор».

«Да, доктор».

«Это все равно что умирать. Или исчезать. Вот: исчезать. Глаза как будто сползают с лица, а руки становятся чужими руками, и тогда начинаешь думать: что со мной? а сердце колотится так, словно вот-вот разорвется, и не отпускает... словно от тебя отваливаются целые куски и летят во все стороны, ты их больше не чувствуешь... тебя всю разносит, и тогда я заставляю себя думать о чем угодно, цепляюсь за любую мысль, и если я сжимаюсь в этой мысли, все проходит, нужно только упираться; только это... только это и вправду ужас... внутри тебя мыслей уже никаких нет, никаких-никаких, а вместо мыслей одни ощущения, понимаете? ощущения... и самое главное – адский жар, и еще – невыносимая вонь, просто смрад, вот здесь, в горле, жар и удушье, будто тебя кусают изнутри, какой-то демон кусает и рвет тебя на клочки, кусает и рвет...»

«Простите, доктор».

«Иногда все бывает гораздо... проще, то есть я опять исчезаю, но только медленно и незаметно... это переживания, падре Плюш говорит, что это переживания, он говорит, что мне нечем заслониться от переживаний, как будто все на свете проникает мне в глаза, прямо в...»

«Да-да, в глаза».

«Нет, я этого не помню. Я и сама знаю, что мне плохо, но... Бывает, что мне и не страшно, ну, то есть не всегда страшно, вчера ночью была жуткая гроза... молния, ветер... но я совсем не боялась, ничуть... А вот какой-нибудь цвет, или предмет, или... или хотя бы лицо прохожего, да-да... лица бывают страшные, правда ведь? такие лица... такие настоящие, будто сейчас набросятся на тебя, эти лица орут, понимаете, о чем я? они орут на тебя, это ужасно, от этого не спастись, не... спас... тись...»

«Любовь?»

«Иногда падре Плюш читает мне. От книг не больно. Вообще-то папа не велит, но... бывают... бывают книги, где много переживаний, понимаете? там убивают, там смерть... но когда мне читают, я совсем не боюсь, странная вещь, у меня даже получается плакать, и сразу становится так приятно, что уже не чувствуешь этого смрада, я просто плачу, а падре Плюш читает дальше, и мне так хорошо, только не говорите папе, он ничего не знает, и лучше, чтобы...»

«Папу? Конечно люблю. А что?»

«Белые ковры?»

«Не знаю».

«Однажды я видела, как папа спит. Я вошла в его комнату и все видела. Я видела папу. Он спал свернувшись калачиком. Как ребенок. На боку. Поджал ноги и стиснул ладони в кулаки. Никогда этого не забуду... Мой папа, барон Кервол. Спал совсем как ребенок. Понимаете вы или нет? Как же мне не бояться, если даже... если даже...»

«Я не знаю. К нам никто не приезжает».

«Бывает. Да, замечаю. Стоит мне появиться, как они переходят на шепот и даже ходят замедленно, словно боятся что-то разбить. Правда, может, это...»

«Нет, не тяжело... это другое, не знаю, это как...»

«Падре Плюш говорит, что я должна была родиться ночным мотыльком, но вышла какая-то ошибка, и вот я прилетела сюда, хотя это место не совсем для меня, поэтому мне трудновато, поэтому мне и больно, все правильно, но я должна терпеть, терпеть и ждать, это, конечно, совсем не просто – превратить мотылька в женщину...»

«Хорошо, доктор».

«Ведь это игра, это и так и не так, вы же знаете падре Плюша...»

«Конечно, доктор».

«Болезнь?»

«Да».

«Нет, не боюсь. Этого я не боюсь, правда».

«Хорошо».

«Да».

«Да».

«Тогда прощайте».

«

«Доктор...»

«Простите, доктор...»

«Доктор, я понимаю, что больна, я даже не могу выйти отсюда, просто побегать – для меня это слишком...»

«Понимаете, я хочу жить, я готова на все, лишь бы жить, мне нужна вся жизнь без остатка, пусть она сведет меня с ума, пусть, ради жизни я готова сойти с ума, главное жить, даже если мне будет очень-очень больно – я все равно хочу жить. Ведь у меня получится, правда?»

«Ведь получится?»

Диковинная это вещь – наука, и, как диковинное животное, ищет она норку в самых невообразимых местах и кропотливо вынашивает причудливые идеи, непостижимые и порой смехотворные для стороннего взгляда, настолько, что кажутся пустой тратой времени, бесцельным шатанием, хотя в действительности они под стать строго выверенным охотничьим тропам, искусно расставленным ловушкам, блестяще задуманным военным операциям,

от которых просто дух захватывает, как у барона Кервола, когда, одетый во все черное, доктор под конец заговорил с ним, пристально глядя на него с холодной уверенностью и в то же время с каким-то налетом нежности, совершенно нехарактерной для ученых мужей и, в частности, для доктора Аттерделя, но и не такой уж загадочной, если все же проникнуть в помыслы доктора Аттерделя, точнее, всмотреться в его глаза, в глубине которых образ этого большого и сильного человека – ни много ни мало самого барона Кервола – настойчиво сливался с образом человека, свернувшегося калачиком на своей кровати и спящего как ребенок; внушительный, властный барон – и маленький мальчик, один внутри другого, эту двоицу не различить: есть отчего растрогаться, даже если вы истый служитель науки, каковым бесспорно являлся доктор Аттердель в тот самый миг, когда с холодной уверенностью и даже каким-то налетом нежности он пристально взглянул на барона Кервола и сказал ему: я могу спасти вашу дочь, – он может спасти мою дочь, – но это будет нелегко, в известном смысле это будет крайне опасно, – опасно? – последствий этого эксперимента мы пока не знаем, но полагаем, что в подобных случаях он приносит пользу, в чем убеждались уже не раз, однако ручаться ни за что нельзя... – вот вам и умело расставленная ловушка науки, и неисповедимые охотничьи тропы, и блестящая партия, которую одетый во все черное доктор разыгрывает против ползучей и неприступной хвори, напавшей на эту девочку, слишком хрупкую для того, чтобы жить, и слишком живую для того, чтобы умереть; против невиданной хвори, у которой все же есть враг, лютей враг, опасное, но действенное средство, до того невероятное, что даже ученый муж понижает голос, произнося, под застывшим взглядом барона, его название – всего одно слово, которое либо спасет его дочь, либо убьет, хотя скорее спасет, короткое, но бесконечное, по-своему волшебное и невыносимо простое слово.

– Море?

Взгляд барона Кервола остекленел. В это мгновение даже в самом отдаленном уголке его владений не сыскать человека, чье сердце замерло бы в зыбком равновесии от такого кристально чистого изумления.

– Мою дочь спасет море?

Один посреди берега, Бартльбум смотрел. Босой, с закатанными штанинами, толстой тетрадью под мышкой и вязаной шапочкой на голове. Слегка наклонившись вперед, Бартльбум смотрел. На землю. Он определял, до какой именно точки дотягивается треснувшая шагах в десяти от него волна, ставшая озером, зеркалом и масляным пятном, пока взбиралась по отлогому подъему и напоследок цепенела, вскипая вдоль кромки тонким бисером, а после мимолетного раздумья, поверженная, грациозно соскальзывала вспять по внешне безобидному уклону – легкая добыча ноздревато-алчного песка, дотолеробкого, но вдруг проснувшегося, чтобы почать короткий водобег, обращая его в ничто.

Бартльбум смотрел.

В несовершенном круге его оптической вселенной совершенство колебательного движения сулило Бартльбуму сладкие надежды, которые фатально сводились на нет очередной неповторимой волной. И никак нельзя было унять эту бесконечную череду созидания и разрушения. Глаза Бартльбума пытались найти поддающуюся описанию, упорядоченную истину, отраженную в ясном и полном образе, но вместо этого неудержимо устремлялись вслед за подвижной неопределенностью, подчиняясь мерному покачиванию, которое усыпляло и высмеивало любой научный взгляд.

Вот досада. Следовало что-то предпринять. Бартльбум остановил взгляд. Направил его на ноги, сосредоточив внимание на узенькой береговой полоске, безмолвной и неподвижной, и принялся ждать. Он должен покончить с этой напористой чехардой. Если Магомет не идет к горе – и так далее и тому подобное, рассудил он. Рано или поздно границу его взгляда, который Бартльбум считал многозначительным в своей научной пронизательности, пересечет резко очерченная пеннистая кайма долгожданной волны. И тогда она глубоко запечатлется в его сознании. И он поймет ее. Таков был план. Бартльбум самоотверженно погрузился в бесчувственную неподвижность, сделавшись на время холодно-непогрешимым оптическим прибором. Бартльбум почти не дышал. В круге, строго обрамленном его взглядом, воцарилась ирреальная тишина лаборатории. То была западня, стойко и терпеливо подстерегавшая свою добычу. И неторопливая добыча показалась. Пара женских ботинок. Точнее, сапожков. Но женских.

– Вы, надо полагать, Бартльбум?

По правде говоря, Бартльбум ждал волны. Или чего-то в этом роде. Вскинув глаза, он увидел даму в элегантной сиреневой накидке.

- Бартльбум... ах да... профессор Исмаил Бартльбум.

- Вы что-то обронули?

Неожиданно для себя Бартльбум обнаружил, что так и застыл в крючковой позе оптического прибора. Бартльбум выпрямился с естественностью, на какую только был способен. Крайне ограниченную.

- Нет. Я работаю.

- Работаете?

- Да, я занимаюсь... занимаюсь исследованиями, такими, знаете, исследованиями...

- А-а.

- Ну, то есть научными исследованиями...

- Научными.

- Да.

Молчание. Дама плотнее запахнулась в сиреневую накидку.

- Раковины, лишайник и все такое?

- Нет, волны.

Вот так-то: волны.

- Видите... вон там, где кончается вода... где она набегает на берег и останавливается, - видите, видите эту точку: вода задерживается на какой-то

миг, смотрите, вот сейчас, вот-вот... коротенький миг – и отступает, если бы остановить этот миг... когда останавливается и вода, как раз в этой точке, на самом изгибе... Вот что я изучаю. То, где останавливается вода.

– А что, собственно, тут изучать?

– Ну, в общем, это такая переломная точка... Обычно ее не замечают, но если призадуматься, там происходит нечто невероятное, нечто... невероятное.

– В самом деле?

Бартльбум подступил к даме. Можно было подумать, что профессор собирается выдать ей большой секрет, когда он выдал:

– Там кончается море.

Бескрайнее море, море-океан, неоглядная гладь, жестокая и всемогущая, – в каком-то месте, в какой-то миг оно обрывается, необъятное море иссякает в крошечной точке: раз-два – и готово. Вот что хотел сказать Бартльбум.

Дама скользнула взглядом по волнам, невозмутимо сновавшим взад-вперед, шевеля песок. Когда она перевела взгляд на Бартльбума, ее глаза искрились улыбкой.

– Меня зовут Анн Девериа.

– Весьма польщен.

– Я тоже остановилась в таверне «Альмайер».

– Отличная новость.

Дул нестихающий северный ветер. Пара женских сапожков прошла по бывшей лаборатории Бартльбума и остановилась неподалеку от нее. Дама обернулась.

– Не хотите ли испить со мной чаю?

Кое-какие вещи Бартльбум видел разве что в театре. А в театре неизменно отвечали:

- С превеликим удовольствием.

- Энциклопедия пределов?

- Да... Полное название звучит так: Энциклопедия пределов, встречающихся в природе, с кратким изложением границ человеческих возможностей.

- И вы ее пишете...

- Да.

- Один.

- Да.

- С молоком?

Бартльбум всегда пил чай с лимоном.

- Да, спасибо... с молоком.

Дымка.

Сахар.

Ложечка.

Кружит по чашке.

Затихает.

Растягивается на блюдце.

Анн Девериа сидит напротив и слушает.

– Природа обладает поразительным совершенством, являющимся суммой пределов. Природа совершенна, поскольку не бесконечна. Познав ее пределы, мы узнаем, как работает ее механизм. Главное – познать пределы. Возьмем, к примеру, реки. Река может быть длинной, очень длинной, но она не может быть бесконечной. Чтобы механизм работал, она должна кончиться. Так вот, я исследую ее длину до того, как она кончится. 864 километра. Этот раздел я уже написал: Реки. На него ушла уйма времени, сами понимаете.

Анн Девериа понимала.

– Или, скажем, лист дерева. Если присмотреться – это сложнейшая вселенная, но она конечна. Самый крупный лист встречается в Китае: метр 22 сантиметра в ширину и вдвое больше в длину. Огромный, но не бесконечный. И в этом есть своя логика. Лист еще более внушительных размеров мог бы вырасти поистине на исполинском дереве, однако самое высокое дерево, растущее в Америке, не превышает 86 метров; высота, конечно, впечатляющая, но и ее совершенно недостаточно, чтобы удержать пусть даже ограниченное, несомненно ограниченное число листьев, размеры которых превосходили бы размеры листьев, произрастающих в Китае. Улавливаете логику?

Анн Девериа улавливала.

– Что и говорить, это довольно утомительные и сложные изыскания. Главное в них – понять. И описать. Недавно я завершил раздел Закаты. Знаете, все же это гениально, что дни кончаются. Гениально. Дни, а потом ночи. И снова дни. Кажется, так и должно быть, но в том-то и вся гениальность. Там, где природа решает поместить свои пределы, рождается незаурядное зрелище. Закаты. Я изучал их несколько недель подряд. Не так-то просто понять закат. У него свой ритм, своя мера, свой цвет. А поскольку ни один закат не похож на другой, ученый должен умело различать детали и обособлять сущность, до тех пор пока он сможет сказать: да, это закат, закат в чистом виде. Вам скучно?

Анн Девериа не было скучно. То есть не более, чем всегда.

– И вот теперь я у моря. Море. Подобно всему на свете, оно тоже кончается, но видите, и здесь, как в случае с закатами, самое трудное – обособить идею, иначе

говоря, обобщить длинную цепочку рифов, берегов, заливов в единый образ, в понятие конца моря, чего-то, что можно выразить несколькими строками, вместить в энциклопедию, чтобы люди, прочтя ее, сумели понять, что море конечно, что независимо от происходящего вокруг него, независимо от...

- Бартльбум...

- Да?

- Спросите меня, зачем я здесь. Зачем.

Молчание. Замешательство.

- А я не спросил?

- Спросите сейчас.

- Зачем вы здесь, мадам Девериа?

- Чтобы вылечиться.

Снова замешательство. Снова молчание. Бартльбум берет чашку. Подносит ее к губам. Она пуста. Ой. Чашка возвращается на место.

- От чего?

- Это особая болезнь. Неверность.

- Простите?

- Неверность, Бартльбум. Я изменила мужу. И муж считает, что морской климат укротит страсть, морские просторы укрепят нравственность, а морское успокоение поможет мне забыть любовника.

- В самом деле?

– Что в самом деле?

– Вы в самом деле изменили мужу?

– Да.

– Еще чаю?

Пристроившись на самом краю света, по соседству с концом моря, таверна «Альмайер» потакала в тот вечер темноте, заглушавшей краски ее стен, всей земли и целого океана. В своей уединенности таверна казалась напрочь забытой. Словно некогда вдоль берега моря прошел пестрый караван таверн на любой вкус, и от каравана отбилась одна утомленная таверна; она пропустила своих спутниц и решила обосноваться на этом взгорье, поддавшись собственной слабости и склонив голову в ожидании конца. Такой была таверна «Альмайер». Ее отличала красота, свойственная лишь побежденным. И ясность, присущая слабости. И совершенное одиночество потерянного.

Художник Плассон только-только возвращался. Насквозь промокший, он восседал со своими холстами и красками на носу лодки, подгоняемой ударами весел, которыми ловко орудовал рыжеволосый отрок.

– Спасибо, Дол. До завтра.

– Доброй ночи, господин Плассон.

Как Плассон еще не загнулся от воспаления легких, оставалось загадкой. Обыкновенный человек не может часами простаивать на северном ветру, когда прибой заливаается ему в штаны: рано или поздно он отправится на тот свет.

– Сначала он должен закончить свою картину, – заметила Дира.

– Никогда он ее не закончит, – возразила мадам Девериа.

– Значит, он никогда и не умрет.

В комнате номер 3, на втором этаже, керосиновая лампа бережно освещала – разнося по окрестным сумеркам ее тайну – благоговейную исповедь профессора Исмаила Бартльбума.

Моя несравненная,

одному Богу известно, как не хватает мне в эту грустную минуту утешения от Вашего присутствия и облегчения от Вашей улыбки. Работа изнуряет меня, а море противится моим настойчивым попыткам постичь его. Не думал я, что выстоять против него будет так тяжело. И сколько я ни ношусь с моими приборами и тетрадями, я не нахожу начала того, что ищу, не вижу хотя бы малейшего намека на возможный ответ. Где начинается конец моря? Скорее даже так: что мы имеем в виду, когда говорим: море? Огромное, ненасытное чудовище или ту волну, что пенится у наших ног? Воду, что можно зачерпнуть ладонью, или непроглядную бездну? Выражаем ли мы все это одним словом или под одним словом скрываем все это? Сейчас я рядом с морем и не могу понять, где оно. Море. Море.

Сегодня я познакомился с очаровательной женщиной. Но не ревнуйте. Я живу только для Вас.

Исмаил А. Исмаил Бартльбум

Бартльбум писал с безмятежной легкостью, ни разу не запнувшись и до того размеренно, что, казалось, не было силы, способной его потревожить. Он тешил себя мыслью, что именно так, в один прекрасный день, Она будет его ласкать.

В полумраке длинными тонкими пальцами, сведшими с ума не одного мужчину, Анн Девериа касалась жемчужин своего ожерелья – этих четок страсти – безотчетным движением, разгонявшим ее тоску. Она смотрела, как чахнет пламя лампы, время от времени подмечая в зеркале новый рисунок собственного лица, в отчаянии набросанный слабейшими сполохами. Опершись на последний отблеск огня, чтобы приблизиться к постели, где, укрывшись, бестревожно спала девочка, Анн Девериа бросила на нее взгляд, но взгляд, для которого «бросить» – чрезмерное слово, удивительный взгляд, живой и мягкий, бескорыстный и непритязательный, взгляд как прикосновение – глаз и образа, –

взгляд не берущий, но обретающий – в полной тишине сознания, единственный по-настоящему спасительный взгляд, не замутненный сомнением, не опороченный знанием, – сама невинность, ограждающая нас от ранящего воздействия извне на наше чувство-зрение-чувство, ибо это и есть чудесное предстояние перед всем сущим – зримое постижение целого мира – без тени сомнения и даже восторга – только – зримое – постижение – мира. Так взирают глаза Богородиц под церковными сводами, точно ангел, сошедший с золоченых небес в час Благовещения.

Темнота. Анн Девериа приникает к нагому телу девочки, проникая в тайну ее ложа, раздувающегося легкими, как облака, покрывалами. Пальцы Анн скользят по ее невообразимой коже, губы выискивают в потаенных складках теплый привкус сна. Медленно движется Анн Девериа. Замедленный танец дарует волю голове, и промежности, и всей плоти. И нет другого такого танца, в котором закружимся вместе со сном по паркету ночи.

Гаснет последний свет в последнем окне. Лишь безостановочная машина моря нарушает тишину взрывными накатами ночных волн, далекими воспоминаниями о сомнамбулических бурях и навеянных снами кораблекрушениях.

Ночь в таверне «Альмайер».

Неподвижная ночь.

Бартльбум проснулся усталым и недовольным. Ночь напролет он торговался во сне с каким-то итальянским кардиналом на предмет покупки Шартрского собора, выговорив под конец монастырь в окрестностях Ассизи по баснословной цене в шестнадцать тысяч крон, а в придачу – ночь с его кухней Доротеей и четвертушку таверны «Альмайер». Сверх всего, торг происходил на углу суденышке, угрожающе накренившемся в бурном море; капитаном этой посудины был некий джентльмен, который выдавал себя за мужа мадам Девериа и признавался со смехом – со смехом, – что ровным счетом ничего не смыслит в морском деле. Бартльбум проснулся без сил. Его вовсе не удивило, что на подоконнике сидел прежний мальчик и смотрел на море. Однако Бартльбум слегка опешил, когда мальчик не оборачиваясь произнес:

– Я бы у этого типа и даром не взял его монастыришко.

Не говоря ни слова, Бартльбум встал с постели, стащил мальчишку с подоконника, выволок его из комнаты и, крепко держа за руку, пустился вниз по лестнице.

– Мадемуазель Дира! – крикнул он, скатываясь по ступенькам на первый этаж, где наконец-то – МАДЕМУАЗЕЛЬ ДИРА! – обнаружил искомое, а именно гостиничную стойку – если так можно выразиться, – словом, предстал, удерживая мальчугана железной хваткой, перед мадемуазель Дирой – десять лет, ни годом больше, – и только тут остановился с грозным видом, лишь отчасти смягченным по-человечески податливой ночной рубашкой соломенного цвета и уже всерьез опротестованным сочетанием последней с шерстяным чепцом крупной вязки.

Дира оторвала взгляд от своих счетов. Оба – Бартльбум и мальчик – стояли перед ней навтыжку и наперебой тараторили как по заученному.

– Этот мальчишка читает мои сны.

– Этот господин разговаривает во сне.

Дира опустила взгляд на свои счета. Она даже не повысила голоса.

– Исчезните.

Исчезли.

6

Ведь барон Кервол отродясь не видывал моря. Его земли были землею: полями, лугами, болотами, лесами, холмами, горами. Землею. И камнями. Никак не морем.

Море было для него мыслью о море. Или источником воображения. И занимался этот источник где-то в Красном море, раздвоенном Божьей десницей;

преумножаясь думой о всемирном потопе, он терялся на время и вновь нарождался в пузатом профиле ковчега, тут же сочетаясь с мыслью о китах – прежде невиданных, но часто рисуемых воображением, – затем незамутненно перетекал в дошедшие до него скупые легенды о чудо-рыбах, морских змеях и подводном царстве, принимая, в крещендо фантастического блеска, суровые черты его предка – вставленного в раму и увековеченного в фамильной галерее, – который, по преданию, был мореходом и правой рукой Васко да Гамы, – его лукавый и коварный взгляд; мысль о море вступала на зловещий путь, подпрыгивала на бугристых сказаниях о пиратских набегах, путалась в навязчивой цитате из святого Августина, нарекшего океан жилищем демонов, пятилась к туманному слову «Фессалия» – то ли названию затонувшего корабля, то ли имени няньки, сочинявшей всякие рассказы про морские сражения, вбирала в себя душистые запахи богатых заморских тканей, всплывала на поверхность в очах чужеземной красавицы, единожды увиденной в незапамятные времена, а под конец этого кругосветного плавания ума сливалась с ароматом диковинного фрукта, что рос-де в южных краях у самого синего моря: вкушая его, ты вкушал вкус солнца. Поскольку барон Кервол отродясь не видывал моря, море в его сознании тайком плавало на борту парусника, стоявшего со спущенными парусами у причала, – безобидное и бесполезное.

Оно могло бы прозябать там вечно. Но его мигом извлекли на свет божий слова человека в черном по имени Аттердель – вердикт неумолимого жреца науки, призванного явить чудо.

– Я знаю, как спасти вашу дочь. Ее спасет море.

Морское чрево. Уму непостижимо. Зачумленная, тухлая лужа, вместилище кошмаров, глубоководный монстр, древнейший людоед, язычник, вечно наводивший на людей страх, и вот нежданно

тебя

зовут, как на прогулку, тебе велят, потому что нужно лечиться, тебя толкают с неумолимой вежливостью

в морское чрево. Нынче это лечение в моде. Желательно, чтобы море было холодным, очень соленым и беспокойным, так как волна – тоже часть лечебной процедуры, а скрытую в ней опасность следует технически преодолеть и морально подавить, бросив ей робкий – все же робкий – вызов. И все это в полной уверенности, что непомерная морская утроба сумеет разорвать оболочку болезни, восстановить жизненные каналы, усилить живительные выделения главных и второстепенных желез

идеальное смягчительное средство для страдающих водобоязнью, меланхоликов, импотентов, малокровных, нелюдимов, злыдней, завистников

и сумасшедших. Вроде того психа, которого привезли в Брикстон под неусыпным оком непроницаемых докторов и ученых и силой окунули в ледяную, взрыхленную волной воду, после чего вытащили и, сняв показания и противопоказания, окунули снова, разумеется силой, при температуре плюс восемь, с головой; он вынырнул словно крик и словно дикий зверь вырвался из рук санитаров и прочего люда, и хоть все они были опытными пловцами, это ничего не дало против слепой звериной ярости; он пустился наутек – наутек – прямо в воду, совершенно голый, и взревел от этой смертной пытки, взревел от стыда и страха. Гулявшие по пляжу оцепенели от неожиданности, а зверь все бежал и бежал, и женщины еще издали впивались в него взглядом, ведь им хочется, ох как хочется увидеть бегущего зверя и – что там скрывать – рассмотреть его наготу, именно ее, беспорядочную наготу, наобум несущуюся в море, по-своему даже привлекательную в этот пасмурный день, исполненную той красоты, что насквозь прошибает и годы примерного воспитания, и чопорные пансионы, и ханжескую стыдливость и попадает туда, куда должна попасть, молниеносно взбираясь по напряженным жилкам застенчивых женщин, которые в тайниках своих пышных белоснежных юбок – женщины. Море будто ждало их всегда. Если верить докторам, оно пребывало так тысячелетиями, терпеливо совершенствуясь с единственной целью – стать чудодейственной мазью, облегчающей страдания их души и тела. Распивая чай и взвешивая слова, безукоризненные доктора с парадоксальной любезностью твердили в безукоризненных гостиных безукоризненным мужьям и отцам, что отвращение, шок и ужас, вызываемые морем, являлись в действительности благотворным средством от бесплодия, недержания мочи, нервного истощения, климакса, повышенной возбудимости, раздражительности, бессонницы. Идеальный способ для врачевания ювенильных отклонений и подготовки к нелегким женским обязанностям. Торжественный обряд посвящения девиц в женщины. Так, позабыв на время барахтающегося в море психа из Брикстона (псих дул без остановки, улепетывал в открытое море, покуда вовсе не скрылся из виду, –

подопытный кролик, ускользнувший от медицинского освидетельствования и академической статистики и стихийно отдавшийся морскому чреву)

позабыв беднягу беглеца

(его переварил исполинский водяной желудок и уже не вернул земле, не отрыгнул миру, как того следовало ожидать, в виде бесформенного лилового пузыря)

обратимся к

женщине – просто женщине, – уважаемой, любимой, матери, женщине. Не важно, по какой причине – болезнь – ее привозят на море, которое иначе она никогда бы не увидела, и море становится точкой ее исцеления, правда точкой беспредельной: глядя в эту точку, она не может ее понять. У нее распущенные волосы и босые ноги, и это не пустяк, а нелепость – в сочетании с белой маечкой и штанишками, доходящими до лодыжек, так что можно домыслить узкие бедра, – нелепость, ибо такой женщину видел только ее будуар, и все же именно такой она стоит на берегу, где не застаивается липкий воздух брачного ложа, но веет морской ветерок, несущий эдикт о дикой свободе, утерянной, забытой, притесненной, обесцененной за время всей этой долгой жизни матери-жены-любимой. И это ясно как божий день: она не может этого не чувствовать. Вокруг – простор, исчезли стены и закрытые двери, а впереди – бесконечная, возбуждающая гладь, и это – восторг чувств, оргия нервов, и все еще должно произойти, натиск ледяной воды, страх, текучее объятие моря, судорога, на исходе воздух...

Ее подводят к воде. На ее лицо спускается – неземной покров – шелковая маска.

Впрочем, труп брикстонского психа так никто и не востребовал. Вот что следует сказать. Врачи ставили свои опыты, вот что следует понять. Разгуливали немислимые парочки: больной и его врач; прозрачные, возвышенные, снедаемые недугом божественной медлительности больные и врачи – подвальные мыши, занятые поисками симптомов, анализов, признаков и показаний, неусыпно следящие за кривой болезни в ее угловатом увиливании от силков небывалого врачевания. Дошло до того, что они пили морскую воду, ту самую воду, которая еще вчера считалась тошнотворной привилегией опустившихся бродяг или краснокожих дикарей. Теперь ее потягивали те самые утонченные инвалиды,

что прогуливались по взморью, неприметно волоча за собой строптивую ногу и отчаянно симулируя благородную хромоту, избавлявшую их от банальной необходимости ставить одну ногу впереди другой. Лечение было все. Кто находил себе благоверных, кто писал стихи – шла обычная, довольно отвратная жизнь, которая, исключительно в лечебных целях, вдруг перенеслась на самый край чудовищной бездны, ныне облюбованной наукой для скорбного променада.

Купание в волне. Так называли это врачи. Имелось даже особое приспособление, что-то вроде портшеза, на полном серьезе запатентованное и предназначавшееся для водных процедур, дабы уберечь от нескромных взглядов представительниц слабого пола, дам и, разумеется, девиц. Представительницы забирались в портшез, завешенный со всех сторон плотным пологом неброских оттенков, и прямиком препровождались в море вблизи от берега; портшез располагали на уровне воды, и дамы выходили из него, чтобы принять водные процедуры, как принимают лекарство, почти невидимые за набухшим на ветру пологом – этой плавучей часовенкой, напоминавшей с берега сакральное облачение для загадочного водного ритуала. Купание в волне.

Воистину есть вещи, подвластные лишь науке. Отмести столетия гадливости – убийственное море, утроба смерти и тлена – и выдумать идиллию, мало-помалу утвердившуюся на всех побережьях мира. Лечение как увлечение. И было вот еще что: как-то раз к побережью Деппера волной прибило лодку, точнее, ее жалкий каркас. И были они – совращенные болезнью; усеяв обширный берег, они поодиночке совокуплялись с морем – изящные арабески на повсюдном песке, каждый в собственном коконе волнений, похоти и страха. С научной невозмутимостью, сплотившей их в этом парадизе, они неторопко спустились со своих эмпиреев к нездешнему обломку, который не решался врезаться в песок, как трусливый гонец не решается доставить тайное послание. Они приблизились. Втащили ялик на сушу. И увидели. Примостившись на корме, воздев зеницы кверху и простерев длань вперед, в лодке было то, чего уже не было. Они увидели его – святого. Деревянного. Деревянная статуя. Цветная. Длиннополая накидка, перерезанное горло. Лик этого не замечает, он хранит Божественный покой и ангельскую кротость. В лодке больше ничего, только святой. Один. На мгновение все невольно переводят взгляд на океан, ожидая увидеть очерк церкви – вполне понятный, но безрассудный порыв: ни церковью, ни крестов, ни тропинок там не было: в море вообще нет дорог, нет указателей и пояснений.

Смотрят десятки болящих, смотрят изнуренные, прекрасные и далекие женщины, смотрят мыши-врачи, ассистенты и прислужники, смотрят старые соглядатаи, зеваки, рыбаки и подростки – смотрит святой. Все застыли в смущении – они и он. И в нерешительности.

Как-то раз на побережье Деппера.

Так никто никогда и не понял.

Никогда.

– Повезете ее в Дашенбах, там идеальный пляж для купания в волне. Три дня. Одно погружение утром, одно – днем. Спросите доктора Тавернера, он обо всем позаботится. Вот рекомендательное письмо. Возьмите.

Барон взял письмо, даже не взглянув на него.

– Это ее погубит, – сказал он.

– Возможно. Но маловероятно.

Только великие лекари бывают так цинично точны.

Аттердель был самым великим.

– Судите сами, барон: вы вольны удерживать вашу девочку здесь годами; она вечно будет ходить по белым коврам и спать среди летающих людей. Но настанет день, и чувство, которое вы не сможете предугадать, унесет ее прочь. И тогда – аминь. Либо вы идете на риск, следуете моим предписаниям и уповаете на Господа. Море вернет вам дочь. Не исключено, что мертвую. Но если живую, то действительно живую.

Циничная точность.

Барон замер с письмом в руке, на полпути между самим собой и черным доктором.

– У вас нет детей.

– Это не имеет значения.

– Однако их нет.

Он глянул на письмо и положил его на стол.

– Элизевин останется дома.

На миг стало тихо, но только на миг.

– Ни за что на свете.

Это произнес падре Плюш. На самом деле в его сознании возникла поначалу другая, более витиеватая фраза, звучавшая примерно так: «Быть может, стоит отложить решение этого вопроса и хорошенько обдумать его, с тем чтобы...» Что-то вроде того. Но оборот «ни за что на свете» был явно проворнее и без особого труда скользнул сквозь петли своей предшественницы, всплыв на поверхности тишины как нежданно-негаданный поплавок.

– Ни за что на свете.

Впервые за шестнадцать лет падре Плюш осмелился возразить барону в том, что касалось жизни Элизевин. Он ощутил пьянящий восторг, словно только что выбросился из окна. В нем всегда билась своего рода практическая жилка, и, оказавшись в воздухе, он решил поучиться летать.

– Элизевин поедет к морю. Я сам ее повезу. Мы проведем там столько времени, сколько понадобится: месяцы, годы, – пока девочка не совладеет с собой. И она вернется – живой. Всякое другое решение было бы глупостью, хуже того – трусостью. Да, Элизевин боится, но мы не должны бояться, не убоюсь и я. Элизевин нет никакого дела до смерти. Она хочет жить. И ее желание сбудется.

Падре Плюш говорил так, что в это невозможно было поверить. Невозможно было поверить в то, что это говорит падре Плюш.

– Вы, доктор Аттердель, ровным счетом ничего не смыслите в людях: ни в отцах, ни в детях. Поэтому я вам верю. Истина всегда бесчеловечна. Как вы. Я знаю, что вы не ошибаетесь. Мне жаль вас, но я восхищаюсь вашими словами. И хоть я никогда не видел моря, я дойду до него, потому что мне внушили это ваши слова. Ничего более нелепого, смешного и бессмысленного со мной еще не случилось. Но во всей вотчине Кервола не найдется ни одного человека, способного мне помешать. Ни одного.

Он взял со стола рекомендательное письмо и сунул его в карман.

Сердце падре Плюша колотилось как буйнопомешанное, руки била дрожь, в ушах странно звенело. Ничего удивительного, подумал он: не каждый день приходится летать.

В этот момент могло произойти все что угодно. Бывают минуты, когда вездесущая причинноследственная связь событий внезапно нарушается, застигнутая врасплох жизнью, и сходит в партер, смешиваясь с публикой; и тогда на подмостках, залитых светом нечаянной и головокружительной свободы, невидимая рука выуживает в бесконечном лоне возможного, среди миллиона возможностей одну-единственную, которая и свершается. В мгновение ока через молчаливый мужской треугольник пронеслись одна за другой все миллионы возможностей, готовые тут же лопнуть; когда же сверкающий ураган скрылся, в окружности этого времени и пространства удержалась только одна, крохотная и чуточку стыдливая возможность, усердно пытавшаяся свершиться. И она свершилась. Свершилось то, что барон – барон Кервол – разрыдался, даже не думая закрывать лицо руками, а лишь откинувшись на спинку роскошного кресла, сломленный усталостью, сбросивший с себя непомерный груз. Теперь это был конченный и одновременно спасенный человек.

Барон Кервол плакал.

Его слезы.

Падре Плюш стоял как вкопанный.

Доктор Аттердель не изрек ни слова.

И больше ничего.

Обо всем этом в поместье Кервола никто никогда не узнал. Но все как один до сих пор рассказывают, что случилось потом. Всю прелесть того, что случилось потом.

- Элизевин...

- Чудесное лечение...

- Море...

- Это безумие...

- Вот увидишь, она выздоровеет.

- Пропадет она.

- Море...

Море – убедился барон по рисункам географов – было далеко. Но главное – убедился он по своим снам, – оно было ужасно, преувеличенно красиво, чудовищно сильно – бесчеловечно и враждебно – прекрасно. А еще море было невиданных цветов, необыкновенных запахов, неслыханных звуков – совсем иной мир. Барон смотрел на Элизевин и не мог себе представить, как она соприкоснется со всем этим и не исчезнет в пустоте, растворившись в воздухе от волнения и неожиданности. Он думал о том мгновении, когда она обернется и в глаза ей хлынет целое море. Он думал об этом много дней. И наконец понял. В сущности, это было нетрудно. И почему он раньше не догадался?

- Как мы доберемся до моря? – спросил у него падре Плюш.

- Оно само до вас доберется.

Апрельским утром они двинулись в путь по холмам и долам и на закате пятого дня выехали к реке. Поблизости не было ни деревеньки, ни хуторка. Зато на воде бесшумно покачивалось небольшое суденышко под названием «Адель». Оно бороздило воды Океана между континентом и островами, перевозя богатство и нищету. Нос корабля украшала деревянная фигура с волосами до пят. Паруса знавали ветра далеких морей. Киль долгие годы присматривал за морским нутром. Незнакомые запахи каждого закутка источали истории, переписанные на матросской коже. Судно было двухмачтовым. Барон Кервол пожелал, чтобы оно вошло в устье реки и поднялось вверх по течению.

- Это безрассудство, - отписал ему капитан.

- Я вас озолочу, - ответил барон.

И вот, словно летучий голландец, сбившийся с твердого курса, двухмачтовик «Адель» был тут как тут. На крохотной пристаньке, где швартовались разве что мелкие лодчонки, барон прижал к себе дочку и молвил ей:

- Прощай.

Элизевин молчала. Она опустила на лицо шелковую вуалетку, вложила в отцовские ладони запечатанный лист бумаги, повернулась и пошла навстречу людям, ожидавшим ее у причала. Почти стемнело. При желании все это можно было принять за сон.

Так, наинейшим образом - который мог измыслить только отцовский ум - Элизевин сошла к морю, несомая течением по его танцевальным излучинам, затонам и мелководью, проложенным веками плавания мудрейшею рекой, единственной, кому ведом изящный, мягкий, легкий и безвредный путь к морю. Они шли вниз по течению, с медлительностью, выверенной до миллиметра материнским чутьем природы, постепенно втягиваясь в мир запахов, красок и открытий, изо дня в день осторожно предвещавший поначалу далекое, а затем все более явственное присутствие заждавшейся их громадной утробы. Менялся воздух, менялись зори, небо, формы домов, птицы, звуки, лица людей на берегу, слова, слетавшие вдогонку с их уст. Вода ластилась к воде: тактичное ухаживание. Речные излуки - словно кантилена души. Неуловимое путешествие. В сознании Элизевин кружились тысячи ощущений, невесомых как пушинки.

В поместье Кервола и поныне вспоминают об этом плавании. Каждый на свой лад. И все – понаслышке. Но что с того? Расскажам все равно не будет конца. Разве можно не рассказать о том, как было бы славно, если на каждого из нас приходилось бы по реке, ведущей к собственному морю. И был бы кто-то – отец, любящее сердце, кто-то, кто возьмет нас за руку и отыщет такую реку – выдумает, изобретет ее – и пустит нас по течению с легкостью одного только слова – прощай. Вот это будет расчудесно. И жизнь станет нежнее, любая жизнь. И все ее заботы не причинят больше боли: их прильет течением так, что вначале к ним можно будет прикоснуться и лишь затем позволить им притронуться к себе. Можно будет даже пораниться о них. Даже умереть от них. Не важно. Зато все пойдет наконец по-человечески. Достаточно чьей-то выдумки – отца, любящего сердца, чьей-то. Он сможет придумать дорогу, прямо здесь, посреди этой тишины, на этой безмолвной земле. Простую и красивую. Дорогу к морю.

Оба пристально смотрят на бескрайний водный простор. Невероятно. Кроме шуток. Так можно простоять всю жизнь и ничего не понять, и все смотреть и смотреть. Впереди море, позади длинная река, под ногами обрывается земля. Они не шелохнутся. Элизевин и падре Плюш. Как заколдованные. В голове ни единой мысли, стоящей мысли, только изумление. Чудо. Проходит минута, другая – целая вечность, – и наконец, не отрывая глаз от моря, Элизевин говорит:

– Но ведь где-то оно кончается?

За сотни верст, один как перст в своем огромном замке, человек подносит к свече лист бумаги и читает. Всего несколько слов вытянулись в строчку. Черные чернила.

Не бойтесь. Я не боюсь. Любящая вас Элизевин.

Потом их подхватит карета. Уже вечер. Таверна ждет. Путь близкий. Дорога берегом. Вокруг – никого. Почти никого. В море – что он там делает? – художник.

На Суматре, у северного побережья Пангеев, каждые семьдесят шесть дней всплывал остров в форме креста, покрытый густой растительностью и, судя по всему, необитаемый. За ним можно было наблюдать несколько часов, после чего он снова погружался в море. На берегу Каркаиса местные рыбаки обнаружили обломки фрегата «Давенпорт», потерпевшего крушение за восемь дней до того на другом конце земли, в Цейлонском море. По пути в Фархадхар моряки наткнулись на странных светящихся бабочек, вызывавших глухоту и чувство тоски. В водах Богадора пропал караван из четырех военных судов, накрытых одной громадной волной, поднявшейся неизвестно откуда в день, когда на море стоял мертвый штиль.

Адмирал Лангле внимательно просматривал документы, поступавшие к нему из разных частей света, который ревностно оберегал тайну своего безумия. Письма, выписки из судовых журналов, газетные вырезки, протоколы допросов, секретные донесения, дипломатическую почту. Всего понемногу. Лапидарная сухость официальных сообщений или пьяные откровения гораздых на выдумку матросов равно скитались по свету, чтобы затем осесть на письменном столе, где Лангле, от имени Королевства, проводил своим гусиным пером границу между тем, что будет восприниматься в Королевстве как истинное,

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.com/alessandro-barikko/more-ocean-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)